О чем ЗНАЕТ ВЕТЕР

История, которая стирает границы пространства и времени, прошлого и настоящего

ЭМИ ХАРМОН

Романы Эми Хармон

Эми Хармон

О чем знает ветер

«Издательство CLEVER»

2019

УДК 82-311.3
ББК 84(7Сое)

Хармон Э.

О чем знает ветер / Э. Хармон — «Издательство CLEVER», 2019 — (Романы Эми Хармон)

ISBN 978-5-00154-436-4

Писательница Энн Галлахер с детства зачарована Ирландией и гордится своими ирландскими корнями. Молодая американка приезжает в Ирландию в надежде узнать историю собственной семьи, которая таит множество загадок и тесно переплетена с самыми трагичными страницами ирландской революции. Поиски подробностей приводят Энн к невероятному перемещению во времени. Энн попадает в 1921 год и оказывается в эпицентре борьбы за независимость Ирландии. Доктор Томас Смит, спасший ей жизнь, принимает Энн за шпионку. Однако противиться влечению к таинственной гостье Томасу не по силам. И любовь его взаимна. Энн оказывается вовлечена в политическую борьбу, исход которой ей известен наперед. Энн не вправе влиять на течение исторических событий, но может ли она изменить историю своей семьи ради великого чувства?

УДК 82-311.3
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-00154-436-4

© Хармон Э., 2019
© Издательство CLEVER, 2019

Содержание

Пролог 6
Глава 1 8
Глава 2 16
Глава 3 27
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Эми Хармон
О чем знает ветер

Посвящается моей прапрабабушке
Энн Галлахер Смит

Так смелее, отряд сказителей, ловчие слов!
Хроникёрам – оглядка;
вдохновенным – удержу нет,
Ибо поднят сюжет на крыло, точно вальдшнеп.
Ибо – корка, под литерами копыт искрошенная, —
твердь нам в очи пылит,
Мы же млечною поземью мчимся —
дальше, дальше…[1]

У. Б. Йейтс

Оригинальное название: What the Wind Knows
Text Copyright © 2019 by Amy Harmon
This edition is made possible under a license arrangement originating with Amazon Publishing, www.apub.com,
in collaboration with Synopsis Literary Agency.
Cover design by Faceout Studio, Lindy Martin (7БЦ)
Фото использовано с разрешения Stocksy, автор изображения PAFF:
https://www.stocksy.com/607189/beautiful-girl-sitting-alone-on-jetty (КБС)
ООО «Клевер-Медиа-Групп», 2020

Пролог

Ноябрь 1976 г.

– ДЕДУШКА, РАССКАЖИ о своей маме.

Он молчал достаточно долго – молчал и гладил меня по темечку. Я даже подумала, он не расслышал.

– Моя мама была очень красивая. Волосы темные, глаза зеленые – совсем как у тебя.

– Ты по ней тоскуешь?

Две слезинки скатились, смочив дедушкину рубашку, – я ощутила сырость щекой. Сама я невыносимо тосковала по маме.

– Уже нет, – признался дедушка.

– Как же так?

Я вдруг рассердилась. Обязан человек тосковать по родной матери, обязан – и точка! Не тоскует – значит, предает.

– А это потому, что мама всегда со мной, Энни, – объяснил дедушка.

Я заплакала.

– Тише, тише, девочка. Не надо плакать. Когда плачешь, ушки хуже слышат.

– А что им слушать? – Я всхлипнула, забыв, что сержусь.

– Песню ветра, Энни.

Я затаила дыхание. Я даже голову наклонила. Дедушка слышит – значит, и мне нужно.

– И где она, эта песня? Где?

– Не ерепенься. Может, ветер специально для тебя поет.

Ветер выл, а не пел, – выл и бился в окно спальни.

– Сам ветер слышу, – признала я. Подумала: «Хорошо засыпать под этакий вой». Добавила: – Только он не поет. Это больше похоже на крик.

– Ветер внимание твое хочет привлечь. Наверно, сейчас что-то важное сообщит.

– Поэтому плакать нельзя, да?

– Да. Когда я был твоих лет, Энни, я тоже часто плакал. Но один человек сказал: не плачь, всё будет хорошо. Ветер наверняка знает.

– О чем знает ветер?

Напевно и мягко – словно волна морская накатила и отступила – дедушка начал декламировать:

– В ветрах укрощённых, в смирённых волнах / Всё память жива о Его чудесах… – и остановился внезапно, словно забыл, как там дальше.

Я тотчас воспользовалась заминкой.

– О каких чудесах, дедушка?

– О тех, что случились на этой земле. Ветру и волнам всё давно известно.

– Что им известно?

– Абсолютно всё, Энни. Ветер, который сейчас бьется в окно, – тот же самый, что дул в самом начале времен. И дождь тоже. Потому что всё повторяется. Время движется по кругу; представь огромный круг – и поймешь. Ветер и волны первыми появились на земле. И камни, и звезды вместе с ними. Только камни говорить не умеют, а звезды слишком далеки.

– Может, им с высоты нас вообще не видно, а, дедушка?

– Пожалуй, ты права. Зато ветер и вода знают все земные тайны. Что говорилось на земле, что делалось – всему они свидетели. Ты, главное, слушай внимательно – тогда они тебе все

истории поведают, все песни споют. У каждого своя история, Энни. А раз по земле миллионы миллионов людей прошли, так, значит, и людских историй столько же. Без счету, словом.

– Получается, они – ветер с волнами – и мою историю знают? – прошептала я, потрясенная догадкой.

– Конечно, – выдохнул дедушка и улыбнулся моей запрокинутой мордашке.

– И твою?!

– А как же. Истории-то наши с тобой связаны, родная. Одной без другой и быть не может. У тебя история необыкновенная. Целая жизнь нужна, чтоб рассказать. Даже две жизни – твоя и моя.

Глава 1
Преходящее

И молвил он:
– Не повод для печали,
Что страсть утолена – едва надкушен
Рожок вселенской сахарной спирали.
Знай: чувства, что дыханье нам спирали,
Вернутся через тысячи продушин.

У. Б. Йейтс

Июнь 2001 г.

ГОВОРЯТ, ИРЛАНДИЯ – ЭТО ее мифы. Фейри и компания населили Изумрудный остров задолго до появления англичан – и даже святого Патрика. Мой дед, Оэн Галлахер, высоко ставил миф и мне свое пристрастие передал. Это правильно, ибо в легендах и сказках живут наши предки, наша культура, наши хроники. Из воспоминаний создаются истории, а если не создаются – неминуемо теряются. Исчезнут истории – исчезнут и люди. Я лично помешалась на историях еще ребенком – непременно мне надо было знать о моих предках. Может, потому, что с малолетства несла бремя тяжелой утраты, а может, виной был страх: однажды я тоже уйду, а никто и не вспомнит, что я вообще жила. Я исчезну для мира. Жизнь продолжится, мир отряхнется от тех, кто умер, заменит старое на новое. Настоящая трагедия, да и только. О человеке должны помнить – и о том, как началась его жизнь, и о том, как она завершилась. Неправильно, если не помнят.

Оэн родился в графстве Литрим в 1915 году, за девять месяцев до Пасхального восстания, навсегда изменившего Ирландию. Его отец и мать (мои прадед и прабабка) погибли; Оэн осиротел прежде, чем узнал родительскую любовь. В этом мы с ним похожи; его утрата как бы перелилась в мою, моя трагедия стала его трагедией. Ибо я потеряла родителей в шесть лет; замкнутая девочка с не в меру живым воображением, я была подхвачена на ветру Оэном. Он спас меня; он меня вырастил. Когда слов во мне накопилось в устрашающем избытке, Оэн просто дал мне ручку и бумагу.

– Не можешь высказать – напиши, Энни. Напиши их все, свои слова. Пристрой их получше.

Так я и сделала.

Впрочем, эта история не похожа на прежние – а я их немало создала. Ибо я собираюсь поведать историю моей семьи, вплетенную в ткань моего прошлого, протравленную в моей ДНК, опалившую мне память. Началось всё – если начало вообще можно вычленить – с дедушкиной смерти.

* * *

– У меня в столе есть ящичек, он на замок закрывается, – сказал дедушка.

– Знаю, – поддразнила я. Будто когда-либо пыталась подобрать к замку отмычку. На самом деле я про этот ящичек в первый раз слышала. Я уже давно перебралась в отдельную квартиру из дедушкиной, что помещалась в особняке из песчаника, расположенном в одном

из самых престижных районов Бруклина. И я уже давно называла дедушку просто по имени, Оэн, и не совала свой взрослый нос в его потайные ящички.

– Ключ у меня в кармане для часов, – продолжал Оэн. – Да, вот этот, самый маленький. Действуй.

Я открыла ящичек, извлекла содержимое – пухлый конверт из коричневой бумаги и шкатулку с письмами. Их, наверно, была не одна сотня, причем все аккуратно распределены по пачкам. На миг я задумалась, почему ни одно письмо не вскрыто. На каждом стояла дата, только и всего.

– Давай сюда конверт, – сказал Оэн, не поднимаясь с подушки.

За последний месяц он страшно ослабел, он теперь почти всё время был в постели.

Оставив шкатулку, я села к его изголовью. Вскрыла конверт, перевернула. Посыпались реликвии – несколько фотографий, блокнот в кожаной обложке. Последней выпала медная пуговица, совсем гладкая от времени. Ее-то я и взяла, взвесила в ладони. Безделушка, что и говорить.

– Откуда она, Оэн?

Дед сверкнул глазом.

– С куртки Шона МакДиармады[2].

– Неужели того самого?!

– Конечно. Был – и пребудет – только один Шон МакДиармада.

– А к тебе она как попала?

– Подарили. Ты переверни, переверни. Видишь, инициалы процарапаны?

Действительно, с обратной стороны обнаружились крохотные буквы: «S» и «McD».

– Так вот, я говорю, пуговица была на куртке Шона МакДиармады… – начал Оэн.

Я эту историю давно знала. Несколько месяцев я собирала материалы для новой книги, посвященной борьбе ирландского народа за независимость от Британии.

– Шон процарапал свои инициалы на пуговицах и монетах и отдал верной Мин Райан[3] накануне казни. А казнили его за организацию Пасхального восстания, – отчеканила я. Мысль, что в моей ладони – самый настоящий кусочек истории, вызвала трепет.

– Верно. – Оэн чуть улыбнулся. – Шон был родом из Литрима, как и я. Он ездил по всей стране, и всюду приживались привезенные им саженцы Ирландского республиканского братства[4]. Именно Шон вовлек в борьбу моих отца с матерью.

– Невероятно, – прошептала я. – Оэн, почему ты не подсуетился получить сертификат подлинности этой пуговицы? Она же кучу денег стоит, ей в надежном сейфе место.

– Теперь она твоя, Энни. Обещай, что не подаришь пуговицу человеку, который не представляет ее истинной ценности.

Наши глаза встретились – и волна восторга откатила с шелестом. Потому что на Оэна жалко было смотреть. Совсем старый, еле живой, измученный болезнью. Скоро он покинет меня, я же к этому не готова. Нет, только не сейчас.

– Оэн, я сама толком этой ценности не представляю, – вымучила я полушепотом.

– Ценности чего?

– Пуговицы.

---

[2] Шон МакДиармада, также известный как Шон Макдермотт (1883–1916), – один из семи лидеров и организаторов Пасхального восстания. В боевых действиях не участвовал, так как перенес полиомиелит и передвигался с тростью. Избежал бы ареста, но был выдан Дэниелом Хоу, тайным агентом дублинской полиции. Казнен 12 мая 1916 г. – *Здесь и далее примечания переводчика.*

[3] Невеста Шона МакДиармады, полное имя – Мэри Джозефина Райан. После казни жениха эмигрировала в США.

[4] Ирландское республиканское братство (ИРБ) – тайная организация, основанная в 1858 г. Джеймсом Стивенсом с целью добиться для Ирландии статуса республики. Военным крылом ИРБ стала Ирландская республиканская армия (ИРА). ИРБ было тесно связано с Братством фениев в США, которое поддерживало ИРБ деньгами и людьми в подготовке восстания в Ирландии. Членов ИРБ также называют фениями.

Пусть говорит со мной как можно дольше, пусть будет в сознании. Я зачастила, ибо недуг Оэна оставил пустоту не только в нем, но и во мне. Требовалось ее заполнить.

– Я уже столько прочла про Ирландию! Горы материалов. Биографии, хроники, дневники – всё в голове перепуталось. Насчет самого Пасхального восстания еще более-менее понятно, а вот что дальше было – не разобрать. Сплошные оценочные суждения, обвинения. Хаос, полный хаос.

Оэн рассмеялся, но в смехе была горечь.

– Когда речь об Ирландии, это нормально, Энни.

– Нормально?!

Вот уж утешил так утешил.

– Слишком многие люди крепки задним умом, а когда надо действенное решение предложить – никого с фонарями не сыщешь. Что же до критиканов, даже все вместе взятые, они прошлого изменить не в силах, – вздохнул Оэн.

– Не представляю, о чем писать. Только приму за истину какое-то одно мнение – натыкаюсь на другое. Просто руки опускаются.

– Ты, Энни, чувствуешь ровно то же, что весь ирландский народ чувствовал в двадцатые. Кстати, это одна из причин моей эмиграции.

Оэн нашарил блокнот и принялся поглаживать порванную обложку. Точно так же его ладонь гладила много лет назад мое темечко. Некоторое время мы оба молчали.

– Ты тоскуешь по Ирландии, да, Оэн?

Вообще-то, мы об этом не говорили. Моя жизнь – точнее, наша с Оэном жизнь – текла в Америке, в городе, кипучая энергия которого могла сравниться только с быстрой ртутью синих глаз Оэна. Что было с моим дедом до того, как я родилась? Откуда мне знать, если Оэн никогда не выражал желания открыть данную тему.

– Тоскую, Энни. По народу ирландскому тоскую. По запахам, по зеленым холмам. По морю. И по этому странному ощущению, словно время не то чтобы остановилось, нет, – словно его вовсе никогда не было. Такова Ирландия! Перемены, бег часов и дней – не для этой земли. Знаешь, Энни, не надо тебе про ирландскую историю писать. Исторических хроник и так без счету. Напиши лучше о любви.

– Даже любовной истории необходим контекст, – возразила я.

– Само собой. – Оэн отзеркалил мою слабую улыбку. – Я хотел сказать, не дай историческим событиям отвлечь тебя от людских судеб и характеров. И от чувств, разумеется. – Дрожащей рукой Оэн взял одну фотографию, поднес близко к глазам. – Есть дороги, что неминуемо ведут к сердечной боли; есть события, вовлекаясь в которые человек душу теряет – и потом уж так и живет, без души, без сердцевины. Ищет утраченное, бедняга. – Оэн бормотал, будто цитировал некое изречение, некогда услышанное или прочитанное, до сих пор отдающееся в памяти. На слове «бедняга» он вручил фотографию мне, заставил встретить напряженный, даже яростный взгляд неизвестной молодой женщины.

– Кто это, Оэн?

– Твоя прабабушка, Энн Финнеган Галлахер.

– То есть твоя мама?

– Да.

Прозвучало как выдох.

– Слушай, а ведь я на нее похожа!

Открытие польстило мне. Прическа и платье в первый миг сбили меня с толку, но очень быстро я заметила, что гляжу в собственное лицо.

– Поразительно похожа, Энни. Просто вылитая, – согласился Оэн.

– Только она смотрит… как-то мрачно.

– В те дни люди были скупы на улыбки.

– В смысле, вообще не улыбались?

– Почему «вообще»? – фыркнул Оэн. – В жизни – улыбались, перед фотографом – нет. Важность на себя напускали. Так, без улыбки, солиднее казалось. Каждый ведь хотел за революционера сойти.

– А это мой прадедушка, да? – Я взяла другую фотографию, где рядом с Энн Финнеган Галлахер был запечатлен мужчина.

– Да. Это мой отец, Деклан Галлахер.

Глядел он совсем юношей – пылким, ранимым, гордым. Эти качества не потускнели, даже когда фотография приобрела оттенок сепии. Славный Деклан Галлахер! Погиб во цвете лет – а как бы хорошо было узнать его! От этой мысли Оэн отвлек меня третьей фотографией: рядом с его родителями другой мужчина. Одет в костюм-тройку, как Деклан; жилет ловко сидит на худощавом торсе, виднеется из-под сюртука. Волнистые волосы зачесаны назад, причем на темени оставлена приличная длина, а виски подстрижены коротко. Брюнет или шатен, не разберешь. Чуть нахмурен, будто от недовольства, что его фотографируют.

– Оэн, а это кто?

– Доктор Томас Смит, лучший друг моего отца. Я любил его почти так же сильно, как люблю тебя, Энни. Собственно, он был мне отцом.

Оэн говорил теперь едва слышно, веки его сомкнулись.

– Он тебя вырастил? – Я не сдерживала изумления, почти кричала. – Почему ты никогда мне эти фотографии не показывал? Почему, Оэн?

– Есть и еще, Энни.

Мой вопрос он проигнорировал, словно экономя силы для более важных объяснений. Я взяла следующее фото: Оэн – глазастый мальчуган, весь в конопушках, однако набриолиненный. Короткие штанишки и гольфики, зато жилетик и сюртучок совсем как у взрослого. Кепи держит в руках. Позади него, положив ладони ему на плечики, стоит пожилая женщина. Губы в улыбке растянула. Собой недурна, но все дело портит улыбка. Очень уж подозрительный взгляд – кто так глядит, тот искренне улыбаться не может.

– А это кто, Оэн?

– Моя бабушка, Бриджид Галлахер. Мать моего отца.

– Сколько тебе здесь?

– Шесть. Бабушка в тот день на меня сердилась. Я не хотел сниматься без остальных, но она заставила. Хотела иметь карточку, где только мы с ней, и больше никого.

– Ну а здесь кто? – Я взяла следующее фото. – Это твоя мама, вижу. Волосы только подлинней, а так – она самая. А рядом – доктор, верно?

Что-то такое было в лицах, в позах запечатленных; что-то заставило вздрогнуть мое сердце. Взгляд. Взгляд Томаса Смита. Ощущение, будто чопорный доктор, сколько мог, отводил глаза от женщины, а в последний момент не выдержал. Женщина смотрела в пол, играя ямочками на щеках, – тайной упивалась? Не касаясь друг друга, эти двое определенно жаждали прикосновения. Никого третьего рядом с ними не было. Поразительно откровенный снимок для своего времени.

– Оэн, скажи, Томас Смит… любил Энн Галлахер?

Странно, что от этого простого вопроса дыхание перехватило.

– И да и нет, – еле слышно молвил Оэн.

Я скорчила гримаску.

– Исчерпывающий ответ!

– Зато правдивый.

– Но ведь Энн была женой твоего отца. А Томас – его лучшим другом. Ты же сам говорил!

– Говорил, – вздохнул Оэн.

– Ого! Похоже, тут целая история!

– Да, – прошептал Оэн. Закрыл глаза, поморщился. – Удивительная история, Энни. Как ни погляжу на тебя – непременно вспомню всё.

– Это же хорошо, – подхватила я. – Это хорошо, когда всё помнишь.

– Да, – согласился Оэн. Снова поморщился. Стиснул край одеяла.

– Боже! Ты когда обезболивающее в последний раз принимал?

Я бросила фотографии, метнулась в ванную, где Оэн хранил лекарства. Выковыряла таблетку из блистера, налила воды, приподняла голову Оэна, чтобы ему было удобнее глотать и запивать.

Моя бы воля – он бы в больнице лежал, где за ним ухаживали бы профессионалы. Но воля была не моя. Мой дед умирал дома, при мне. Всю жизнь он лечил других, бессчетные часы, дни, месяцы провел среди больных и умирающих. Полгода назад у него обнаружили рак, и он отказался от терапии. Мои мольбы и слезы привели единственно к обещанию принимать обезболивающие.

– Ты вернуться должна, Энни, родная, – произнес Оэн позже, сонным от таблетки голосом.

У меня сердце упало.

– Куда вернуться?

– В Ирландию.

– Как я вернусь в страну, где никогда не бывала?

– Говорю тебе: возвращайся. И меня с собой возьми. – Прозвучало совсем невнятно.

– Оэн, я мечтала об Ирландии, сколько себя помню. Ты сам знаешь. Когда поедем?

– Когда я умру. Ты мой прах отвезешь.

Боль в груди была самая настоящая – физическая. Я согнулась пополам, тщась погасить ее, лишив кислорода, – так гасят огонь. Она же – пусть выдавленная из сердца, где полыхала, прорастая змейками вроде тех, что на голове у горгоны Медузы, – никуда не делась. Она прорвалась иначе – из глаз.

– Не плачь, Энни, – вымучил Оэн голосом столь слабым, что я живо вытерла слезы. Незачем Оэну дополнительное расстройство. – Мы ведь не конечны. Когда я умру, отвези мой прах в Ирландию и развей над озером Лох-Гилл. Посередке озера, слышишь?

– Прах? Посередке озера? – Я попыталась улыбнуться. – Может, лучше все-таки на церковном кладбище упокоишься?

– Церкви нужны мои деньги, а вот Богу… Богу душа нужна. Ее Он и получит. Моему праху место в Ирландии.

Под натиском ветра дрогнула оконная рама. Я поспешила задернуть шторы. Дождь хлестал в стекло; прогнозировали ведь шторм в конце мая, и вот он, пожалуйста, целую неделю бушует над Восточным побережьем.

– Ветер воет подобно псу Куланна, – прошептал Оэн.

– Обожаю эту легенду!

Я снова заняла свое место у постели. Оэн лежал с закрытыми глазами, но речь его не смолкала. Он говорил тихо-тихо, будто припоминая.

– Историю о Кухулине я услышал от тебя, Энни. Мне было страшно, и ты пустила меня к себе в постель. Доктор всю ночь нес дозор. Ветер бушевал, мне же чудился вой легендарного пса.

– Ты путаешь. Это ты мне рассказывал о Кухулине, а не наоборот. Много-много раз.

Я поправила Оэну одеяло. Он вцепился в мою руку.

– Ну да, я тебе рассказывал. А ты – мне. И снова расскажешь. Один только ветер знает, кто первый начал.

Он стал засыпать, а я держала его ладонь, прислушивалась к вою ветра, тонула в наших общих воспоминаниях. Мне было шесть, когда Оэн, фигурально выражаясь, стал моим якорем.

Он оформил надо мной опекунство. У него на руках я оплакивала погибших родителей. Вот бы и сейчас разрыдаться по-детски, вот бы всё началось с начала, вот бы моя жизнь пошла раскручиваться по второму кругу.

– Как мне жить без тебя, Оэн? – Я уже причитала вслух.

– Прекрасно обойдешься. Ты уже взрослая, – к моему несказанному удивлению, выдал Оэн. Я-то думала, он давно спит.

– Не обойдусь. Ты мне всегда будешь нужен!

Его губы дрогнули, как бы в ответ на такое откровение.

– Мы встретимся, Энни. Мы будем вместе.

Оэн никогда не отличался набожностью – тем более странно прозвучало его уверенное обещание. Воспитывала Оэна бабушка, ревностная католичка, но религию он оставил на ирландской земле, когда, в восемнадцать лет, обрел новую землю. Правда, по настоянию Оэна я посещала католическую школу в Бруклине; правда и то, что этим учебным заведением мое духовное воспитание и ограничилось.

– Ты в это веришь, Оэн? – прошептала я.

– Не просто верю – знаю. – Он поднял тяжелые веки, и я поежилась под испытующим взглядом.

– Мне бы твою уверенность! Я тебя очень люблю, я не готова тебя отпустить.

Плакала я уже не сдерживаясь. Тяжесть грядущей потери, масштабы одиночества, бесконечность лет без Оэна легли передо мной, и я ужаснулась им.

– Ты красива, Энни. Умна. Богата. – Оэн слабо улыбнулся. – И ты всего сама добилась. Твои книги тебя сделали. Я тобой горжусь, очень горжусь. Одно плохо – никакой у тебя жизни, кроме этих самых книг. Вот и возлюбленного нет до сих пор. – Взгляд Оэна затуманился, скользнул с моего лица, устремился вверх. – Ничего, появится. Обещай, что вернешься, Энни.

– Обещаю.

Потом он заснул, я же спать не могла. Я сидела возле постели, надеялась, ждала – вот он проснется, заполнит тишину речью, утешит меня. Он действительно проснулся – от боли, и я дала ему вторую таблетку.

– Прошу тебя, Энни. Ты должна, обязана вернуться. Ты мне нужна. Мне плохо без тебя. Нам обоим плохо.

– О чем ты говоришь? Я ведь здесь. Кому еще я нужна?

Он явно бредил – боль была несносна, мутила разум. Оставалось держать его за руку и прикидываться, будто понимаю.

– Поспи, Оэн. Когда спишь, боль переносить легче.

– Не забудь блокнот прочесть. Он тебя любил. Он так тебя любил. Он ждет, Энни.

– Кто ждет?

Слезы мои капали прямо нам на сцепленные руки.

– Я по нему соскучился. Столько времени прошло.

Оэн тяжко дышал, не открывая глаз. Что он там видел – в своей памяти, в своей боли? Прошлое, конечно. Я уже не пыталась вернуть его в реальность. Постепенно невнятная речь смолкла, дыхание стало поверхностным. Глазные яблоки под веками двигались – верно, сны были беспокойными. На смену ночи пришло утро, шторм утих. Оэн не проснулся.

2 мая 1916 г.

Он мертв. Деклан мертв. Дублин в руинах. Шон МакДиармада в тюрьме Килменхэм дожидается исполнения смертного приговора. Что сталось с Энн, я не знаю. Не знаю – а сижу дома и веду вот эти самые записи, будто слова способны вернуть моих друзей. Каждая подробность как рана, и каждую рану мне предстоит вскрыть заново и осмотреть – пусть

лишь для того, чтобы появилась хоть какая-то ясность. Вдобавок однажды маленький Оэн спросит меня, что же случилось.

Я шел туда, уверенный, что буду сражаться. При мне была винтовка, с ней я встретил Светлый понедельник. Но я держал винтовку дулом вниз, я так ее и не вскинул. С того момента, как наши взяли штурмом здание Почтамта, мои руки были по локоть в крови, ибо в этом хаосе я еще пытался оказывать первую медицинскую помощь. Я говорю «в хаосе», потому что всё смешалось, потому что буйство восставших усугубило изначальную непродуманность плана. Люди бежали, не зная куда, не представляя, что и как делать. Я находился в более выигрышном положении – я, по крайней мере, крепко помнил, как бинтовать раны и останавливать хлещущую кровь, как накладывать шины и извлекать пули. Я занимался этим в течение пяти дней; я делал свое дело под нескончаемым обстрелом.

Лишенный отдыха, измотанный до такой степени, что, кажется, несколько раз я отключался стоя, будто лошадь, и очнуться меня заставляла только очередная канонада, я не верил в происходящее, был как во сне. Когда Деклан узнал, что по зданию Почтамта бьют из тяжелых орудий, его охватила эйфория; что до Энн, у нее слезы так и брызнули. Оба восприняли артиллерийские залпы по оплоту повстанцев как подтверждение: началась настоящая революция. Энн была уверена, что ирландцам наконец-то удалось достучаться до британцев. Я разрывался между двумя противоречивыми чувствами – гордостью и отчаянием; вроде воплощалась моя юношеская мечта о независимости Ирландии, но воплощалась она ценой чудовищных разрушений. Отлично понимая нелепость своего намерения, я позволил понятиям о дружбе и преданности взять над собою верх; иными словами, я принял участие в Восстании, даром что оно, участие, свелось к тому, чтобы повстанцы – сброд, одурманенный идеалистическими идеями, с безумием фаталистов лезущий на рожон, – чтобы этот сброд получал, в дыму и огне, мало-мальскую медицинскую помощь.

Энн по требованию Деклана поклялась, что не подвергнет себя опасности. Она, Бриджид и малютка Оэн спрятались в моем доме на Маунтджой-сквер, мы же с Декланом присоединились к отряду добровольцев с намерением нести дальше знамя Революции. Однако уже в среду Энн сбежала и проникла-таки в здание Почтамта, вышибив окно. Она хотела видеть Деклана. В своем страстном, неистовом желании она не почувствовала, что до крови рассекла стеклом левую лодыжку и ладонь; пришлось насильно усадить ее и сделать перевязку. Она заявила: «Если, Деклан, тебе суждено погибнуть, я умру с тобой». Деклан взбеленился, но Энн, пропустив мимо ушей его гневную тираду, добилась своего, то есть стала связной между Почтамтом и кондитерской фабрикой. Она бы и у окошка залегла, как у бойницы, да никто ей оружия не дал. Зато как связная – и она это понимала – Энн могла принести немало пользы. Женщин на улицах не задерживали, по женщинам не стреляли – по крайней мере, ПРИЦЕЛЬНО не стреляли. Не знаю, когда, в какой момент удача отвернулась от Энн. В последний раз я видел ее в пятницу ранним утром – пламя уже ползло по Эбби-стрит, причем с обеих сторон, вынуждая нас покинуть Почтамт, сдать этот завоеванный пункт; не оставляя нам альтернативы.

Добыв носилки (пришлось умолять водителя кареты скорой помощи от больницы Святого Иоанна; он заодно уж дал мне три нарукавные повязки с символикой Красного Креста – некую защиту от выстрелов и задержаний), я начал процесс эвакуации раненых в больницу на Джервис-стрит. Мы с ребятами курсировали вниз по Генри-стрит и обратно. О'Коннолли[5] раздробили лодыжку, однако он наотрез отказался покинуть свой командирский пост. Я оставил его на попечение Джима Райана – студента-медика, который примкнул к нам еще во вторник. При дневном свете удалось сделать три ходки до больницы и обратно; темнота

[5] О'Коннолли, Шеймас (Джеймс) (1868–1916) – один из организаторов Пасхального восстания, теоретик марксизма. Казнен 12 мая 1916 г.

и баррикады не дали вернуться на Почтамт ни мне, ни двоим юнцам из Корка, нарочно примчавшимся в Дублин. Я посоветовал им ехать домой. Или идти. Главное, поскорее. Потому что Восстание подавлено. Дома от этих ребят будет больше пользы. Сам я поспешил на Джервис-стрит, отыскал в больнице свободный уголок, устроил из пальто подобие постели и уснул. Разбудила меня сестра, уверенная, что больницу следует эвакуировать – пожар, дескать. Огонь, похоже, шел за мной по пятам от самого Почтамта. Я пробормотал что-то невнятное и снова впал в забытье. Я слишком вымотался, чтобы испугаться какого-то пожара. Проснувшись, я узнал: пожар локализован, а повстанцы сдались.

Больничный персонал убедил британских солдат, что я врач, – так я чудом избежал ареста. До вечера я перевязывал умиравших и закрывал глаза умершим на Мур-стрит[6]. Вооруженные силы Британской короны не разбирали, кто повстанец, кто обыватель. Женщины, дети, старики попали под пули; их мертвые лица были замараны копотью. Над их головами жужжали мухи. Некоторые трупы обгорели до неузнаваемости. В глубине души я понимал: я тоже причастен к этим смертям. Такова борьба за свободу – в ней, в борьбе, гибнут невинные.

Там, в номере 16 на Мур-стрит, я и нашел Деклана.

Я звал его. Звал и хлопал по черным от копоти щекам – и он услышал, он открыл глаза. Сердце мое на миг возликовало – я вообразил, что сумею спасти друга. «Ты ведь не оставишь Оэна, Томас? И мою мать тоже, правда? И мою Энн. Позаботься об Энн, Томас» – вот что он сказал. Я спросил: «Где она, Деклан? Где Энн?»

Но его глаза уже были закрыты, в горле клокотал невыпущенный выдох. Я взвалил Деклана на плечо и поспешил за помощью. Я уже знал, что несу мертвое тело, и все-таки нес до самой Джервис-стрит, до больницы. И я вытребовал для него место, и омыл кровь и копоть с лица и волос, и оправил на нем сюртук. Я даже раны перевязал – раны, которые не могли затянуться, – и, проделав всё это, потащил Деклана обратно – вверх по Джервис-стрит, через Парнелл-стрит, через Гардинер-Роу, в дом на Маунтджой-сквер. Никто не задержал меня. Я нес мертвое тело через центр столицы, но люди пребывали в состоянии такого нервного истощения, что попросту отворачивались.

Едва ли Бриджид когда-либо полностью оправится от потери. Никто сильнее, чем она, не любил Деклана, даже Энн. Я везу его домой, в Дромахэр. Бриджид хочет похоронить сына в Баллинагаре, рядом со своим мужем. Выполнив эту миссию, я вернусь в Дублин. Я должен найти Энн. Господь да простит меня за то, что я отправился служить мертвому, не отыскав ту, что, возможно, жива.

Т. С.

---

[6] Повстанцам в количестве 40 человек удалось проломить стену горящего Почтамта и пробраться, избегнув обстрела, в смежное здание – дом № 16, расположенный на Мур-стрит, откуда они вели огонь вплоть до субботы, 29 апреля, после чего сдались.

Глава 2
Озерный остров Иннишфри[7]

Вот соберусь, вот решусь – я почти готов —
К острову Иннишфри свой направлю чёлн.
Славно устроюсь: сплету шалаш,
девять бобовых рядков
Высею и займу разум гуденьем пчёл.
И набухну покоем – ведь залпом не пьют покой.
Так и сверчиный хор лишь к заре обретает лад;
Полночь сыреет млеком по капле; небосвод наливной
Ради последней ласточки длит закат.
Скоро, скоро решусь, ибо рябью бессчётных ртов
Заклинает Лох-Гилл. Пройдя сквозь грунт и гранит,
Плещет денно и нощно, пульсирует этот зов —
Так, что сердце щемит.

У. Б. Йейтс

УРНУ С ПРАХОМ ОЭНА я запросто провезла в дорожной сумке. Я не знала и не хотела знать, дозволяется ли международным правом (или законодательством Ирландской республики) транспортировка такого рода грузов. Понадеялась на авось. И проскочила. Сумка ждала меня на ленте транспортера. Я расстегнула молнию, удостоверилась, что урну не изъяли, и только потом взяла в аренду автомобиль и направилась в Слайго. Там, на северо-западе Изумрудного острова, я намеревалась провести несколько дней и непременно побывать в Дромахэре, городке соседнего с графством Слайго графства Литрим. Арендуя машину, я не представляла, насколько дезориентирует правостороннее движение; я также не ожидала, что почти все три часа пути прорыдаю и что рыдания будут по временам прерываться воплями ужаса: неспособная из-за слез следить за дорогой, я создала не одну аварийную ситуацию. Насладиться пейзажем, понятно, тоже не получилось.

У себя в Манхэттене я редко садилась за руль. Там машина вообще без надобности. Я бы и на права сдавать не стала, да Оэн меня убедил: свобода, мол, означает в том числе и способность перемещаться в пространстве по зову сердца. Словом, водительские права у меня имелись. Мы с Оэном всё Восточное побережье исколесили, в какие только переделки не попадали – двое безбашенных, пара авантюристов. Незадолго до моего шестнадцатилетия, на летних каникулах, мы предприняли поездку через весь материк. Стартовали из Бруклина, финишировали в Лос-Анджелесе. Собственно, тогда я и научилась водить как следует – покрывать участки хайвея от одного городка до другого, зная, что вижу эти городки в первый и последний раз. Удивительное было путешествие – через холмы и равнины, через красные скалы Запада, с безлюдьем, за которым стояло слишком многое, и с Оэном на пассажирском сиденье.

А еще, пока мы ехали, я выучила наизусть поэму «Байле и Айллин» – длиннейший нарратив, легенду о смертной тоске и роковом обмане. О любви, которая длиннее самой жизни. Оэн прихватил с собой книжку – дешевенькое издание в бумажной обложке, с тонкими, загнутыми на уголках страницами. Он терпеливо слушал мои спотыкания на каждой строчке и еще тер-

[7] Необитаемый остров посреди озера Лох-Гилл, расположенного на территории графств Слайго и Литрим.

пеливее проговаривал со мной труднопроизносимые кельтские имена. В результате под конец путешествия поэма у меня от зубов отскакивала. К Йейтсу я питала страсть – почти такую же, какую питал он сам к прекрасной и неистовой Мод Гонн, актрисе и феминистке, что предпочла свои душевные силы направить на революционную борьбу, а не на «юного Вилли». Оэн снисходительно позволял мне разглагольствовать о вещах, в которых я ничего не смыслила (а думала, что смыслю), конкретнее – о философии, политике и, главное, ирландском национализме. На самом деле я просто их романтизировала, как свойственно девочкам-подросткам. Тогда же, за рулем, я и сообщила деду, что задумала книгу – исторический роман, действие которого будет разворачиваться в контексте событий 1916 года, на фоне Пасхального восстания.

– Из народных трагедий рождаются самые пронзительные истории, – вздохнул Оэн. – Только я, Энни, предпочел бы, чтоб твоя собственная история – иными словами, судьба – была полна радости. Не надо трагедиями упиваться. Куда лучше найти любовь и посвятить ей всю себя. Когда состаришься, лишь об истинной любви помнить будешь. Если, конечно, сумеешь ее удержать.

Меня в ту пору любовь не интересовала. Читать про нее – пожалуй; самой испытывать – нет, спасибо. Весь следующий год я докучала Оэну мольбами поехать в Ирландию, в Дромахэр, его родной город. Мне хотелось на фестиваль Йейтса в Слайго (по словам Оэна, от Дромахэра до Слайго рукой подать); мне хотелось попрактиковаться в ирландском языке. Насчет языка, опять же, Оэн настоял, а я подчинилась, выучила. Именно по-ирландски мы говорили, когда бывали одни.

Моим мольбам Оэн не поддавался. Прежде мы, кажется, вовсе не конфликтовали, а тут стали ссориться чуть не каждый день. Я даже на крайние меры пошла – нарочно стала выпячивать ирландский акцент. Может, думала, хоть этим деда пройму.

– Ты слишком усердствуешь, Энни, – поучал Оэн, заговорщицки подмигивая. – Запомни: звуки должны сами получаться, а для этого нельзя думать, как именно твой язычок во рту двигается.

Я не внимала. Я ведь на Ирландию уже настроилась. Решила за нас двоих. Я даже в турагентство обратилась, а потом предъявила Оэну весь комплект: билеты, гостиничную бронь, программу посещения достопримечательностей, ну и стоимость этого удовольствия.

– Энни, мы не поедем, – отрезал Оэн. – Время еще не приспело. – Отодвинул мои бумажки, заиграл желваками.

– Ну и когда оно приспеет, время твое?

– Когда ты станешь взрослой.

– Я уже взрослая! – воскликнула я, забыв про ирландский акцент.

– О! Вот теперь никто не догадается, что ты в Америке росла! – обрадовался Оэн. – А что я говорил? Не усердствуй – и всё само получится.

Подтекст был ясен: раз с ирландским языком порядок, значит, и в Ирландию ехать незачем.

– Оэн, пожалуйста! Ирландия меня зовет! Мне очень, очень нужно! Поедем, а? – не отставала я. Может, со стороны выглядело театрально, да только я не лукавила. Нисколечко. Земля предков действительно звала меня. Являлась во сне. Не отпускала наяву.

– Верю, Энни, верю. Но пойми же, нельзя туда сейчас. Вдруг мы не сможем вернуться назад?

Мысль мне понравилась. Более того – заворожила.

– Значит, останемся! Врачи везде нужны, а колледж есть и в Дублине. Туда и поступлю.

– Нет, Энни. Наша жизнь – здесь, в Америке. Время еще придет. А пока рано.

– Ну давай хоть на экскурсию слетаем. Совсем ненадолго. Даже если мне там очень-очень понравится, я буду паинькой. Сяду в самолет – и домой, в Штаты.

Не понимала я его непреклонности. Что страшного в обычной поездке? Зачем так упираться?

– В Ирландии опасно! – Оэн не выдержал – вскипел. Кончики ушей побагровели, глаза засверкали. – Мы не поедем – и точка. Клянусь Иисусом, Пречистой Девой и святым Иосифом! И не говори со мной больше про Ирландию, Энни. Вопрос закрыт.

Эта вспышка была хуже пощечины. Я хлопнула дверью, заперлась у себя в комнате. Долго плакала и строила детские планы о бегстве из дому.

Оэн не уступил, а я была не из бунтарок. Видимо, потому, что мой дед мне повода бунтовать не давал. Я смирилась. По какой-то причине Оэн не хочет ехать в Ирландию сам и не отпускает меня; ну что ж, наверно, мне следует подчиниться. Я ведь его люблю и уважаю. Возможно, воспоминания мучают Оэна до сих пор – не жестоко ли с моей стороны настаивать на поездке? То-то и оно, что жестоко. Словом, я выбросила туристические проспекты и перестала выпячивать ирландский акцент, я даже Йейтса теперь читала только наедине с собой. В ирландском языке я по-прежнему упражнялась, но он у меня не с Ирландией ассоциировался, а исключительно с Оэном. Что до мечтаний, Оэн направил их в другое русло.

Я занялась сочинительством. Сама себе истории писала. Уже в восемнадцать я продала свою первую книгу, категория – янг-эдалт, тема – процесс над салемскими ведьмами. Чтобы книга состоялась, Оэн повез меня в Массачусетс, на место событий, и провел там со мной две недели. Я рылась в архивах, занималась прочими историческими изысканиями. Оэн меня не торопил. Вторая моя книга, о Французской революции, была написана от лица юной фрейлины Марии-Антуанетты. Оэн с нездешней готовностью взял отпуск в больнице и отправился со мной на место событий. Следующим номером мы слетали в Австралию – это требовалось для романа об английских каторжниках. Затем был Рим – я писала о молодом легионере, наблюдавшем закат Римской империи. Еще мы посетили Японию, Филиппины и Аляску – всё ради моих книг.

Ездили куда угодно – только не в Ирландию.

Потом я путешествовала одна. Последние десять лет я была в работе буквально по уши: не успевала закончить один роман, как уже замышляла следующий. Я моталась по всему миру. Сто раз могла тайком слетать и в Ирландию, но не сделала этого. Время не выкраивалось между книгами. Но главное – я ждала, что Оэн ко мне присоединится. И вот он умер. Он умер, а я качу средь изумрудных холмов в праворульном автомобиле, в голове моей – призрак Оэна, в дорожной сумке – его прах.

А в груди – полудетская, но от этого не менее жгучая досада: почему Оэн не отвез меня в Ирландию тогда, почему не объяснил своего нелепого отказа?

– Черт побери, Оэн! Ты сейчас здесь должен быть, со мной!

Я произнесла это вслух. Я саданула по дурацкому, неправильному рулю. Глаза наполнились слезами, и этот туман едва не спровоцировал столкновение с грузовиком. Водитель резко свернул, надавил на визгливый клаксон.

Зарулив на стоянку перед отелем «Грейт-Сазерн» в Слайго, я выдохнула: «Спасибо тебе, Господи, что живой дал добраться», а ведь уже несколько лет не молилась. Затем, со своими чемоданами, я не без труда поднялась на высокую террасу. Отель, построенный вскоре после окончания Гражданской вой ны, представлял собой внушительное здание песочного оттенка, а за счет подсветки странным образом походил на корабль. Впечатление усилилось, когда я, получив ключ от номера, двинула уже по внутренней лестнице. Теперь я самой себе казалась пассажиркой «Титаника» – весьма символично, если учесть, что еще в Нью-Йорке, в аэропорту, меня охватило (и с тех пор не отпускало) предчувствие холодной глубины.

Я рухнула на широченную кровать. Прежде чем отключиться, не сняв даже туфель, успела отметить: мебель в комнате массивная и будто наступает на меня, а в принте обоев смешались все оттенки лилового. Проснулась я через двенадцать часов, голодная как волк и

совершенно дезориентированная. Прошлепала в ванную, удивилась: для такого роскошного номера сама ванна была до смешного узкая. После сна меня знобило. Я долго соображала, где и как включается горячая вода. Злилась на себя: ну да, конечно, здесь всё иначе, чем в Штатах, – но не до такой же степени, чтобы столько времени тормозить.

Час спустя, согревшись в ванне, вымыв и высушив волосы, переодевшись в свежее и отутюженное, я спустилась по пафосной лестнице в гостиничный ресторан.

Город Слайго меня вымотал. О, эта чрезмерность изумлений и восторгов по малейшим поводам – детское свойство, дисбалансируемое вполне себе взрослым острым осознанием: вот я здесь, а мой дед, мой Оэн, не может разделять со мной эмоции. Я прогулялась по улице Вольфа Тона[8], осмотрела знаменитое Аббатство, в том числе колокольню; запрокинувшись, едва не сложилась пополам, дожидаясь колокольного звона. Со стены на меня глянул Уильям Батлер Йейтс – уже седой и в очках, снабженный подписью «Страна Йейтса». Почему-то он был похож на Стива Мартина, и я торопливо отвела глаза. Этот человек заслуживал большего, нежели мазня на стене. В музей Йейтса я не пошла принципиально.

Слайго расположен близко к морю, на некоторой возвышенности. Во время моих блужданий нет-нет да и проглядывала между домами серебристая полоска, взъерошенная прибрежными скалами. Я потеряла счет времени; я глядела по сторонам, не отмечая дороги. Внезапно ощутив острую потребность съесть что-нибудь сладкое, я вбежала в кондитерскую. Заодно, подумала, спрошу, в какой стороне мой отель и как добраться до Дромахэра – именно туда я намеревалась ехать завтра.

Хозяин кондитерской, дружелюбный дядька лет шестидесяти, с готовностью снабдил меня лакричными леденцами и карамелью в шоколаде. Уловив мой американский акцент, он принялся выпытывать, зачем я в Слайго; услыхав, что меня привело сюда желание больше узнать о своих предках (родом из Дромахэра), закивал с пониманием.

– Так вам недалеко, лапонька, всего минут двадцать дорога займет. Озеро придется обогнуть; крюк хороший, да ничего не поделаешь. Езжайте по трассе 286, покуда не увидите указатель на Дромахэр. Местность живописная и сама по себе, да еще там достопримечательность – замок Парка[9]. Останови́тесь – не пожалеете.

– А озеро – это Лох-Гилл, да? – В последний момент я сообразила, что по-ирландски слово «озеро» звучит точно так же, как по-шотландски, хотя пишется чуть иначе. В общем, я произнесла «Лох-Гилл» правильно.

– Оно самое и есть, лапонька.

В груди заныло, но я задвинула мысли об озере. Только не сейчас, только не здесь. Я еще успею морально подготовиться к развеиванию праха. К прощанию навсегда.

Хозяин кондитерской показал мне, в какой стороне отель, и посоветовал, если снова заплутаю, прислушаться: откуда будет колокольный звон, туда, значит, и надо идти. Заворачивая в бумагу леденцы с карамельками, он вдруг произнес:

– Галлахер, говорите, ваша фамилия? Была у нас тут одна Галлахер, в озере утопла. Ага, в Лох-Гилле. Только с тех пор уж почти столетие миновало. Я про это от бабушки слыхал. Тела, что интересно, так и не нашли, зато в лунные ночи она по воде ходит. Так что, лапонька, у нас тут собственная лох-гилльская леди имеется. Наверно, у Йейтса она в каком-нибудь стихе упомянута – он ведь писал про Дромахэр.

---

[8] Теобальд Вольф Тон (1763–1798) – основатель Общества объединенных ирландцев, один из лидеров Восстания 1798 г. После того как Британская армия нанесла поражение повстанцам, был арестован и приговорен к смертной казни. Покончил жизнь самоубийством в тюремной камере.

[9] Замок Парка (англ. Parke's Castle) – твердыня, в XV в. выстроенная сэром Брайаном О'Рурком (1540–1591), представителем знатнейшего ирландского рода, которому принадлежали земли под названием Брефни (то есть Холмы) на северо-западе Изумрудного острова. В XVI в., при Кромвеле, О'Рурки лишились почти всех своих владений. Брефни было дано новое название – Литрим.

– Еще бы, – подхватила я и тотчас процитировала первую строфу поэмы «Грезивший о волшебной стране», причем с ирландским акцентом – само собой как-то получилось:

Он средь толпы нарядной в Дромахэре
Завистливо разглядывал шелка
И думал, что нужда его горька
И смерть его – невелика потеря…

Что касается стихотворения, посвященного лох-гилльской леди, я о таковом никогда не слыхала. Зато знала наизусть все стихи Йейтса, в которых упомянут Дромахэр, столь дорогой сердцу моего Оэна.

– Вот где она видна, кровь-то ирландская! – восхитился хозяин кондитерской. – Ай да лапонька, ай да молодчина!

Я улыбнулась, поблагодарила и, сунув конфету за щеку, поспешила обратно в отель, пропитанный духом минувших эпох.

Хозяин кондитерской оказался прав насчет пейзажа. Я ехала с черепашьей скоростью, вцепившись в непривычный правый руль, на поворотах вертела головой – как бы не сбить пешехода, как бы самой во что не врезаться. По временам зеленый шатер совсем смыкался надо мной, будто проглатывал меня вместе с автомобилем, да и с проселком заодно; совсем скрывал очередной поворот. Но едва страх не вписаться охватывал меня, как деревья расступались, и меж ними призывно сверкала озерная вода. Я почти слышала ее зов: «Домой, Энн, поспеши домой!»

Остановившись на изгибе дороги, я вышла из машины, поднялась на холм с полуразрушенной замшелой стеной. Я хотела упиться пейзажем, вобрать глазами эту зелень, эту озерную ртуть. Карта, которую я изучала накануне, поведала мне об истинных размерах озера Лох-Гилл: целых восемь километров в длину. Однако с моего наблюдательного пункта озеро казалось маленьким и уютным. Мне виден был восточный берег, обихоженный и распаханный, разделенный каменными изгородями на смехотворно крошечные квадратики полей, что создавали на холмах серо-зеленую мозаику. Там и сям торчали коттеджики, но в целом (подумалось мне) за последнее столетие окрестности едва ли существенно изменились. Не отпускало ощущение: до озера рукой подать, вот сейчас я сбегу по склону к воде, войду по щиколотки и выкрикну в пространство: «Оэн, я нашла твой дом! Я нашла!..» А затем придется выполнять завет Оэна – развеивать прах. Это соображение меня и остановило. Я удержалась, подавила порыв; я урезонила себя мыслью, что до озера на самом деле гораздо дальше, чем кажется, а берег наверняка илистый, топкий, и кто ее знает, эту топь, где она начинается – может, в нескольких ярдах от меня, под травой-то не разберешь. И недаром, недаром трава такая сочно-изумрудная. Словом, эта картинка – я торчу в трясине по пояс, держа урну с прахом, – заставила меня вернуться за руль.

Десять минут спустя я уже катила по главной улице Дромахэра, фиксируя взглядом каждую вывеску, не зная, с чего начать изыскания. Не стучаться же в первую попавшуюся дверь, не ошарашивать обывателей вопросами о людях, что жили здесь сто лет назад! В итоге, доехав до кладбища, я вышла из машины и побрела меж надгробий, отмечая те, где имена и даты стояли в ряд (это означало семейное захоронение), и те, где свежий букет красноречиво свидетельствовал о наличии потомков, живых и скорбящих.

Фамилия «Галлахер» не попалась ни разу. Я вернулась к машине и продолжила медленное движение по главной улице; я ехала, пока не увидела вывеску «Библиотека» с миниатюрной стрелкой. Повернув, согласно указанию последней, я очутилась в узеньком тупичке.

Городская библиотека представляла собой дом немногим больше коттеджа – стены из грубо отесанного камня, шиферная крыша, пара тусклых окон. Впрочем, я-то знала, сколько

пользы исследователю от буквально любой библиотеки. Короче, я заглушила мотор на тесной парковке (едва ли там могло уместиться разом больше трех автомобилей) и вышла вон.

Внутри библиотека оказалась теснее, чем кабинет в моей манхэттенской квартире – а уж она, квартира, совсем крошечная, даром что обошлась мне в два миллиона долларов. Мой взгляд наткнулся на женщину лет тридцати пяти, погруженную в чтение. Перед нею лежал раскрытый толстенный роман, а на столе громоздились стопки книг, которые, судя по всему, давно следовало расставить по стеллажам. На скрип двери женщина вздрогнула и уставилась на меня, часто моргая, – она всё еще была под властью повествования. Я протянула руку.

– Добрый день. Конечно, это странно, просто я знаю: когда не представляешь, откуда начать поиски, ступай в библиотеку. Дело в том, что здесь, в Дромахэре, родился мой дедушка. В 1915 году. Он рассказывал, что его отец был фермером. Сам дедушка эмигрировал в Америку в начале тридцатых. Назад не вернулся. Мне бы хотелось… – я неловко указала на окно, за которым был виден только мощеный тупичок, – мне бы хотелось узнать, где именно жил мой дедушка, где похоронены его родители и всё такое.

– Как фамилия вашего дедушки?

– Галлахер, – произнесла я. Хоть бы эта библиотекарша не попотчевала меня историей об утопленнице из Лох-Гилл!

– Фамилия распространенная. Моя мама – тоже урожденная Галлахер, хотя она из Донегола.

Библиотекарша встала и не без труда пробралась между книжных утесов. Интересно, куда она денет эти книги, где найдет им место?

– Кстати, у нас тут несколько книжек некой Галлахер. – Она взяла указку и направила ее на верхнюю полку ближайшего стеллажа. – Книжки были написаны в двадцатые годы двадцатого века и нынешней весной преподнесены в дар нашей библиотеке. Я прочла их все. Они восхитительны. Эта Галлахер в прямом смысле опередила свое время.

Я скроила улыбку. Разумеется, я пришла вовсе не ради опусов женщины с распространенной фамилией Галлахер, но в моих интересах было проявить максимум вежливости.

– Таунленд назовите, пожалуйста.

Я вытаращила глаза.

– Что-что?

– Таунленд – это административная единица, – принялась объяснять библиотекарша. – Каждый таунленд имеет свое название. В графстве Литрим около полутора тысяч таунлендов. Вы вот сказали, ваш прадед, предположительно, сельским хозяйством занимался. А я вам отвечу: Ирландия исторически – аграрная страна, ее населяли почти сплошь фермеры. Так-то, милочка.

Полторы тысячи таунлендов на одно графство! Острая боль кольнула при мысли об этом почти игрушечном городке с его главной – и единственной – улицей.

– Я не знаю насчет таунленда, мэм. Может быть, покажете, где тут кладбище? Дальше я бы сама… Не думаю, что будет трудно, – Ирландия ведь такая маленькая.

Настал ее черед таращиться.

– Кладбище есть в каждом таунленде. Вы в жизни могилу не найдете, если не знаете, из какого таунленда родом ваши предки. Вдобавок на старых могилах зачастую нет даже надгробий с надписями. Потому что, милочка, надгробие денег стоит, а деньги в те времена мало у кого водились. Родные отмечали могилу по-своему, каким-нибудь особым значком. Чужаку тут не разобраться.

– Но я ведь не чужая! Что же мне делать?

Я почти всхлипывала. Стоило контрабандой провозить дедушкин прах, стоило создавать аварийные ситуации, чтобы оказаться в положении человека, который ищет иголку в стоге сена!

Библиотекарша при виде моих слез всполошилась.

– Да не переживайте так! Я сейчас позвоню Мэйв. Она почти полвека работала секретаршей в приходе Килланаммери. Может, у нее сохранился доступ к архивам. А может, она и сама вспомнит. Мэйв у нас просто ходячая хроника.

Библиотекарша шагнула к телефону и набрала номер по памяти. Взгляд ее при этом перемещался с меня на книжные завалы и обратно.

– Мэйв? Это Дейрдре, ну, из библиотеки. Звоню сказать, что поступила книга, которую вы ждали. Нет, другая. Про миллиардера. – Некоторое время Дейрдре слушала молча и только кивала, определенно забыв, что по телефону кивков не видно. – Да-да. Я ее пролистала. Вам понравится. – Дейрдре быстро взглянула на меня. – Тут такое дело, Мэйв. В библиотеку зашла девушка, американка. Говорит, у нее ирландские корни. Хочет найти могилы предков. Я подумала, может, вы покажете ей архив, а? – Дейрдре снова кивнула, на сей раз печально. Наверно, услышала от Мэйв то же самое, что сама сказала мне.

Вдруг она чуть отстранилась от телефонной трубки, словно невидимая Мэйв велела незамедлительно сообщить мне новую информацию.

– Поезжайте в Баллинамор. Там есть центр генеалогических исследований, где вам постараются помочь. Вы ведь в Слайго остановились?

Откуда она знает? Я удивилась, однако кивнула.

– Ну конечно, в Слайго, – прокомментировала Дейрдре. – Хотя можно комнату снять в усадьбе на берегу Лох-Гилл, но это для знающих людей. Особняк почему-то нигде не заявлен как гостиница.

Я замотала головой, дескать, понятия не имела о загадочном особняке. Дейрдре продолжила разговор с Мэйв.

– Да, она тоже не в курсе. Фамилия ее предков – Галлахер. Хорошо. Сейчас скажу. Послушайте, мисс, Мэйв вас к себе приглашает. На чай. Заодно отвезете ей книжку про миллиардера. Мэйв говорит, ей кое-что известно о ваших предках. Скорее всего, так и есть. Она стара как мир. – На этой фразе Дейрдре прикрыла трубку ладонью и добавила: – Но память у нее – дай Бог каждому.

* * *

Дверь открылась прежде, чем я успела постучать. На пороге стояла старушка с легчайшими, белейшими волосами – голова ее была словно в ореоле тумана. Очки в темной оправе имели стекла толщиной в ладонь и зрительно еще больше сужали худенькое морщинистое личико. Старушка поморгала блекло-голубыми глазами и поджала губы, накрашенные помадой цвета фуксии.

– Вы Мэйв? – Вот я бестолочь – не спросила у Дейрдре фамилию старушки. – Скажите, как к вам обращаться? Можно просто по имени?

– А я тебя знаю, – выдала Мэйв, вскинув брови. Лоб ее походил на карту гористой местности.

– Вы меня знаете?

– Да.

– Я от Дейрдре. Рада встрече.

Мою протянутую руку Мэйв проигнорировала. Она шагнула от порога, жестом приглашая меня в дом.

– Как тебя зовут, деточка? Лицо твое я помню, а вот имя позабыла.

Мэйв засеменила в гостиную, явно уверенная, что я последую за ней. У меня выбора не осталось. В нос ударил запах пыли, сырости и кошачьей шерсти.

– Я Энн Галлахер. Приехала, чтобы больше узнать о своих предках. Мой дедушка родом из Дромахэра. Я бы хотела найти могилу его отца и матери.

Журнальный столик, сервированный для чаепития, помещался меж двух высоких окон; Мэйв была к нему на полпути, но, услыхав мои слова, вдруг остановилась, будто забыла, куда шла.

– Оэн, – произнесла она с утвердительной интонацией.

– Верно! Оэн Галлахер – так моего дедушку звали. С внезапным головокружением я сделала пару шажков к столику. Чего ждет от меня Мэйв? Что я усядусь, будто желанная гостья, или что останусь стоять, будто просительница? Мэйв и сама стояла – спиной ко мне, застывший легкий силуэт на фоне оконного прямоугольника. Напрасно я ждала приглашения. Чем была потрясена Мэйв – далеким воспоминанием? Или ее постиг провал в памяти? А вдруг он – провал – такого свойства, что через несколько минут мне придется объяснять, как я проникла в чужой дом?

Я чуть кашлянула и позвала:

– Мэйв?

– Она говорила, что ты придешь.

– Кто? Дейрдре? Конечно. Она и книжку со мной передала.

Достав книжку из сумки, я еще немного продвинулась к столику.

– Да не Дейрдре, глупышка. Вовсе не она. Энн говорила, что ты придешь, Энн. Хочу чаю. Сейчас чай будем пить.

Она уселась за столик и нетерпеливо взглянула на меня. Мне хотелось отвертеться, но я сочла за лучшее принять приглашение. Даром что чувство было, словно я в гостях у диккенсовской мисс Хэвишем и сейчас меня станут потчевать древним свадебным тортом и бергамотовым чаем, налитым в пыльные чашки.

– Чай! С удовольствием, большое спасибо, – выдала я, усаживаясь и устраивая книжку про миллиардера поближе к себе.

– Оэн так и не вернулся в Дромахэр, – посетовала Мэйв. – Сюда вообще мало кто возвращается. Даже выражение такое есть – уйти по-ирландски. Ну да зато ты приехала.

Мэйв продолжала сверлить меня взглядом. Перед женщиной, которой известно имя моего деда, я устоять не могла. Шлепнула сумку на стул и уселась, стараясь не присматриваться к лежалому печенью, не замечать пыли на чашках и блюдцах. Пыль ведь не имеет вкуса, верно?

– Чай разольешь? – спросила Мэйв без лишних церемоний.

– Да, конечно. Сейчас.

Никогда еще я до такой степени не смущалась своего американского воспитания. Бормоча о том, насколько польщена оказанной мне честью, я судорожно вспоминала, как его, этот самый чай, разливают из нормального чайника и что при этом говорят.

– Вам покрепче или послабее, Мэйв?

– Покрепче.

Моя рука дрогнула, носик чайника звякнул о чашку. Плеснув заварки на две трети, я чуть успокоилась. Оэн предпочитал чай всем напиткам. Неужто я, родная внучка, не справлюсь?

– Сахар, молоко, лимон?

Мэйв только фыркнула.

– Мне без этих финтифлюшек!

Слава богу! Я чуть куснула губу с целью подавить вздох облегчения, налила себе подкрашенной водицы и пожалела, что нет вина.

Мэйв стала пить маленькими глотками, ничем не выражая, вкусно ей или нет. Я тоже пригубила свой чай. После нескольких глотков, когда мы обе поставили чашки, я решилась спросить:

– Вы хорошо знали Оэна Галлахера?

– Не очень. Он был намного младше меня и вдобавок ужасный сорванец.

Оэн был младше Мэйв? Он немного до восьмидесятишестилетия не дожил! Сколько же тогда ей?

– Мне девяносто два. – Мэйв словно прочла мои мысли. – Матушка моя дожила до ста трех, бабушка – до девяноста восьми. А уж сколько прабабке было, один Господь ведает. Люди – те счет потеряли, однако помнили, что прабабка на своих ногах до самой смерти ходила.

Мне стало смешно. Впрочем, вместо того чтоб рассмеяться, я изобразила легкий приступ кашля.

– Дай-ка я тебя разгляжу хорошенько. Ну, подними личико-то.

Я послушалась.

– Глазам не верю! Вылитая она!

– Кто – она? Мать Оэна Галлахера?

– Вылитая Энн. Просто жуть берет.

– Вы правы. Я видела фотографии. Сходство и впрямь поразительное. Но еще поразительнее, что вы помните. Вы ведь были совсем крохой, когда она умерла.

– Крохой? Ничего подобного. Я ее отлично знала.

– Мой дед рассказывал, что Деклан и Энн Галлахер погибли в 1916 году, а его воспитывала бабушка с отцовской стороны, Бриджид Галлахер.

– Да ладно! – Эту фразу Мэйв растянула до предела. – Энн потом объявилась. Не сразу, нет, время прошло. Помню, как о ней судачили – где, мол, ее носило? Всякое подозревали. Но она вернулась, это точно.

Я глаза вытаращила, промямлила:

– Д-дедушка мне н-ничего такого не говорил…

Мэйв обдумывала мою реплику, прихлебывая чай, не поднимая глаз. Я залпом осушила чашку – пыталась запить горечь недосказанности.

– Может, я путаю. – Мэйв явно хотелось взять свои слова обратно. – Не обращай внимания. Не бери в голову вздор, что старуха мелет.

– Столько времени прошло! – подхватила я.

– Ой, много! А память – она любит с людьми шутки шутить.

Хорошо, что Мэйв так быстро отказалась от своего заявления. А то мне уже страшно стало – слишком уверенно она говорила, просто в пыль растоптала те немногие сведения, которыми снабдил меня Оэн.

– Похоронены оба в Баллинагаре. Это совершенно точно, – произнесла Мэйв.

Я потянулась к сумке, достала блокнот и карандаш.

– Как туда попасть?

– Гм… Пешком отсюда далековато. На машине минут за десять доберешься. Двигай по главной улице к югу. Вон туда, поняла? – Мэйв махнула на окно. – Когда город позади останется, еще километра три проедешь. Будет развилка. Забирай вправо. Еще через полкилометра будет левый поворот. А там и церковь Приснодевы Марии – слева, гляди не проворонь. Ну а кладбище – сразу за церковью.

Я бросила записывать еще на словах «забирай вправо».

– А что, разве улицы не имеют названий?

– Это не улицы, детка. Это дороги. Проселочные. Местный народ знает, что где. Заблудишься – спроси кого-нибудь. На церковь тебе всякий укажет. Не случится человека рядом – просто помолись. Господь всегда молитву слышит, ежели мы Его храм ищем.

15 мая 1916 г.

Поездка в Дромахэр с телом Деклана, увернутым в одеяло и уложенным на сиденье, была, наверно, самой длинной в моей жизни. Бриджид ни слова не проронила, а малыш плакал

безутешно – чувствовал, наверно, что отчаяние распростерло над нами свои черные крылья. Обоих я отвез к себе в Гарва-Глейб, а тело Деклана – к отцу Дарби для отпевания. Деклан упокоился в Баллинагаре, рядом со своим отцом. Я заплатил за надгробие – его положат на могилу, как только будет выгравирована надпись. Если Энн тоже погибла (а я почти уверен, что так и есть), ее похоронят рядом с Декланом. Они оба этого хотели – лежать под одной могильной плитой.

Как ни тяжело мне было, я вернулся в Дублин. Британцы объявили город на военном положении, на каждой дороге поставили посты – солдат и орудия. Мои бумаги, особенно удостоверение врача, сделали свое дело. После скрупулезной проверки я услышал вожделенное «Проезжайте». Дублинские больницы переполнены ранеными – повстанцами, солдатами и простыми горожанами. Этих последних – большинство. Оценив масштабы трагедии, я понял, почему меня, одного из немногих, все-таки впустили в город.

Я искал всюду. Я обшарил морги обычные и морги при больницах – на Джервис-стрит, в госпитале Матер, в госпитале сэра Патрика Данса. Я был даже в женской больнице – говорили, что повстанцы, сдавшись, направились туда. На Меррион-сквер устроили полевой госпиталь, но и там никаких следов Энн, да и сам госпиталь успел расформироваться. Местные жители сообщили, что раненых и мертвых увезли, а куда – им неизвестно. Слухи о массовых захоронениях на кладбищах Гласневин и Динсгрэндж подвигли меня расспросить сторожей, которые, конечно, не могли назвать ни единого имени. Я опоздал. Правда, власти обещают напечатать список погибших в «Айриш Таймс», но когда именно, никто не знает.

Я рыскал по улицам, я носился взад-вперед по Саквилл-стрит с ее зданиями, выгоревшими изнутри, похожими на чудовищные пустые ракушки. Мостовую густо покрывал пепел, местами еще достаточно горячий, чтобы расплавить подметки моих ботинок. Мур-стрит напоминала потревоженный муравейник – люди вернулись к своим недавним жилищам в надежде отыскать уцелевшие вещи. Один дом стал прямой мишенью для снаряда; на его развалинах копошились, заодно с погорельцами, еще и обитатели других районов, преимущественно дети. Их целью были обугленные деревяшки, годные на топливо; вдобавок (такое у меня сложилось впечатление) каждый рассчитывал выудить и что-нибудь более-менее ценное, годное для продажи. Там-то, на Мур-стрит, откуда я выносил тело Деклана, она и бросилась мне в глаза – любимая шаль Энн Галлахер, зеленая, оттенка весенней травы, столь шедшего к ее восхитительным глазам. В тот, последний день, когда Энн влетела в горящее здание Почтамта, шаль, повязанная крест-накрест, укрывала ей плечи и грудь. Кончики были, по ирландской традиции, заткнуты за пояс юбки. Теперь шаль, целехонькая, не замаранная копотью, вольно развевалась на худеньких плечиках какой-то маленькой оборванки – ни дать ни взять флаг, один из тех, что гордые повстанцы водружали в Дублине на каждый захваченный объект. И где теперь эти оранжево-бело-зеленые полотнища? Уничтожены, повержены. Совсем как Деклан и Энн.

Плохо соображая, что делаю и что говорю, я бросился к девочке. Я взял ее за плечики, завопил:

– Откуда у тебя эта шаль?! Где ты ее нашла?!

Девочка указала себе под ноги, а стояла она на куче щебня. Взгляд у нее был отсутствующий, глаза – как у старухи, видевшей слишком много. По лицу и фигурке между тем я дал бы ей от силы лет пятнадцать.

– Под кирпичным боем она лежала, шальто, – произнесла девочка. – Целая почти, только одна дырочка махонькая. Не беда – заштопать можно. Я в этом доме жила – стало быть, шаль моя по праву.

Нижняя челюсть у нее напряглась. Похоже, девочка решила, что я намерен отнять ценную находку, и приготовилась к обороне. Может, мне и следовало применить силу, однако я полез рыться в щебне и обломках кирпичей. Я искал тело Энн. Я разгребал завалы до самого

заката. Впустую. Когда солнце стало садиться, девочка, наблюдавшая за мной и рывшаяся поблизости, вдруг сняла шаль.

– Так и быть, мистер, забирайте. Похоже, это всё, что осталось от вашей жены.

Я не сумел сдержать слез. Девочка отвернулась и пошла прочь, но не прежде, чем я заметил: сквозь маску юного лица больше не проглядывают глаза скорбящей старухи.

Завтра отправляюсь в Дромахэр. Похороню шаль рядом с Декланом.

Т. С.

Глава 3
Похищенное дитя

Мальчик – даром что крещён —
Фейри за руку берёт,
Увести себя даёт
От печалей и забот —
Сколь их есть на белом свете,
осознать не в силах он.

У. Б. Йейтс

К БАЛЛИНАГАРСКОМУ КЛАДБИЩУ я ехала с комом в горле, из последних сил глядя в оба и благоговейно, словно григорианский хорал, повторяя про себя указания Мэйв. Действительно, церковь нашлась легко. Среди холмистых полей высилась она, совсем одинокая, если бы не домик священника, что притаился позади. Мшистые руины крепостной стены, эта вечная деталь ирландского пейзажа, да разбредшееся стадо коров составляли ей сомнительную компанию. Я приткнулась у ворот и шагнула из машины в зябкое июньское предвечерье: если лето в Ирландии и планировалось, срок ему явно еще не пришел. Меня не отпускало ощущение, что я видела Голгофу и распятого Христа. Сдерживая слезы и дрожь пальцев, я толкнула массивную деревянную дверь и вступила в пространство, надышанное настолько, что даже скамьи лучились святостью. Своды хранили эхо крещений, отпеваний и венчаний – бесчисленных таинств, свершенных в этих стенах; казалось, эхо потянется за мной и к могилам, чтобы отозваться последним аккордом на последней дате последнего надгробия.

Под церковными сводами мне всегда бывало столь же уютно, сколь и среди книжных страниц или на кладбищенской аллее. На меня не давило бремя первородного греха, не возникало желания разбить себе лоб в покаяниях, не проклевывался страх перед Чистилищем – иными словами, я не испытывала чувств, свойственных большинству католиков. Наверно, в этом была заслуга Оэна: мой дед уважал религию, однако воспринимал ее с долей скептицизма. Странное сочетание, удивительное умение ценить то, что действительно хорошо, и отстраняться от того, что далеко от совершенства. Короче, между мной и Господом не возникало ни недомолвок, ни разладов. Говорят, человек воспринимает Бога через призму своего наставника в вопросах религии. В моем случае правило работало на сто процентов: о Боге я узнала от Оэна, которого любила и которому доверяла. Любовь и доверие к Оэну перекинулись на Господа Бога.

В католической школе меня учили катехизису, и к нему я применила свой всегдашний прием: выделила и впустила в душу то, что нашло отзыв в этой самой душе. А что не нашло, то я отбросила. Монахини-наставницы были недовольны. Религия, твердили они, это не шведский стол: нельзя выбрать одно и проигнорировать другое. Я вежливо улыбалась, оставаясь при своем мнении. Ибо и жизнь, и религия, и учеба в данном аспекте совершенно идентичны. Откажись я от выбора, просто набила бы разум и душу, как набивают живот – не поняв вкуса, не уловив аромата каждого отдельного «яства»; смесь, бессмысленная и даже опасная для сознания.

Теперь, сидя в пустой церкви, где поколения моих предков молитвами врачевали разбитые сердца, я понимала: вот он, смысл веры, ибо вера оправданна лишь как контекст в борьбе жизни со смертью, а церковь – это памятник былому, проводник, портал из прошлого в настоящее, созданный для утешения. Я, по крайней мере, это утешение нашла.

Церковное кладбище взбиралось вверх по пологому склону. Сверху видна была витая лента дороги, которая привела меня сюда, к этим замшелым надгробиям – настолько замшелым, что я не могла разобрать ни имен, ни дат. А иные надгробия буквально вросли в землю, будто втоптанные самим Временем. Правда, попадались и обихоженные могилы, на которых гладенькие плиты щеголяли цветистыми эпитафиями. Новые захоронения расходились от центра кладбища подобно кругам, что расходятся по воде от брошенного камня, и камнем этим была Смерть. Без усилий прочитывая имена, я вспоминала слова Мэйв: на большей части ирландских кладбищ, мол, всё вперемежку – древнее и недавнее, так что предка отыскать вполне возможно, ведь каждая семья столетиями хоронит своих на одном участке. То и дело поднимая взгляд, я вздрагивала от сходства старых могильных камней с гномами и хоббитами, окаменевшими в траве; каждая трещина казалась прищуром, даже кивком. «Подойди поближе», – словно говорили они.

Своих я нашла под мощным деревом, на границе между старыми и новыми захоронениями. Надгробие представляло собой массивный треугольник с фамилией «Галлахер» в основании. Строчкой выше шли имена «Деклан» и «Энн». Повинуясь порыву, я дотронулась до четкой гравировки, погладила даты – «1892–1916», выдохнула с облегчением: память таки подвела старую Мэйв! Энн Галлахер упокоилась рядом с любимым мужем. Они умерли в один день, как я и думала. Голова закружилась, пришлось встать на колени, а вскоре я поймала себя на том, что говорю вслух – рассказываю Деклану и Энн об Оэне и о себе, уверяю: для меня крайне важно было их отыскать.

Выговорившись, я поднялась и только теперь обратила внимание на соседние могилы. Слева от треугольного надгробия был камень поскромнее – также с фамилией «Галлахер» и с двумя именами – «Бриджид» и «Питер». Даты – две, а не одна на двоих супругов – совсем стерлись. Питер Галлахер скончался раньше, чем его сын Деклан и невестка Энн; Бриджид Галлахер надолго пережила обоих. Оэн об этом не рассказывал. Может, потому, что я не спрашивала. Мне хватало знать, что Бриджид умерла прежде, чем ее внук покинул Ирландию.

Имена своих прапрадеда и праправабки я тоже погладила, поблагодарила Бриджид за то, что ее стараниями Оэн вырос чудесным человеком, добрым и заботливым. Определенно, Бриджид обожала своего внука не меньше, чем сам он обожал и баловал меня. Любить другого способен лишь тот, кто сам был любим; Оэн получил любовь от бабушки – от кого же еще?

Между тем небо нахмурилось всерьез. Ветер стал колючим – как бы намекал, хлеща меня по щекам, что пора двигаться в отель. Готовая внять ветру, я вдруг заметила еще одно надгробие, или, может, взгляд зацепила короткая фамилия – «Смит», расположенная у самой земли, почти скрытая травой. Кто это – Томас Смит, заменивший Оэну отца? Неужели здесь покоится мрачноватый доктор с древней фотокарточки, тот, в чопорном костюме-тройке?

На руку мне ляпнула тяжелая, холодная капля, за ней последовали другие. Тучи сошлись, ударившись могучими торсами. Молния рассекла небосклон, гром шарахнул над самой моей головой. Отбросив любопытство, я побежала к машине, косясь на блестящие под ливнем надгробия, обещая мысленно: я еще приеду, приеду.

* * *

Тем же вечером в Слайго, в отеле, я достала из чемодана коричневый конверт. В чемодан он отправился почти машинально – Оэн настаивал, чтобы я прочла дневник Томаса Смита, вот я и взяла конверт со всем содержимым, но, честно говоря, сразу о нем позабыла. Оэн умер – и всё для меня умерло. Исчезла способность сосредотачиваться, сгинул вкус к изысканиям. Огромных усилий стоило просто не рыдать. Однако сегодня я побывала на могиле предков; удивительно ли, что мне захотелось вспомнить их лица?

А ведь давно, слишком давно никто их не вспоминал! Мысль потрясла меня. Расчет, что земля Ирландии сама собою утишит боль моей утраты, не оправдался, и всё же поездка пошла мне на пользу. Мои эмоции окрашивала теперь не безнадежность, а благодарность; слезы лились по-прежнему, но горечь из них ушла.

Словом, я вытрясла содержимое конверта на небольшой столик, и ровно так же, как месяц назад, первым выпал блокнот в кожаной обложке, а следом выпорхнули фотокарточки, улегшись вокруг него запоздалыми мыслями. Я отложила конверт, однако он, якобы пустой, издал нехарактерный для куска бумаги стук. Заинтригованная, я выудила удивительное кольцо – тонкий золотой ободок, отягощенный черной агатовой камеей. Чудесная вещица, притом старинная; изящество в сочетании с ароматом времени любого исследователя опьянит, и я не стала исключением. Кольцо легко село мне на палец, дополнительно восхитив и заставив пожалеть, что я не обнаружила его тогда, при Оэне, и не поинтересовалась, кто им владел.

Не матушка ли Оэна? Посмотрим; если так, кольцо должно мелькать на фотокарточках. Увы, на одной фотокарточке руки Энн Галлахер находились в карманах серого пальто, на другой Энн держала под локоть Деклана Галлахера, на остальных по разным причинам рук вовсе не было видно.

Снова и снова я перебирала фотокарточки, касалась лиц, что предшествовали появлению на Земле моего собственного лица. Маленький Оэн, с зализанными, расчесанными на прямой пробор волосиками, хмурый и недовольный, вызвал прилив нежности пополам с горечью. Ибо в детской мордашке, в этом выдвинутом упрямом подбородочке и надутых губках я увидела черты взрослого, пожилого Оэна. Бумага, понятно, пожелтела, да и изначально фото было черно-белое, оставалось принять на веру заявление Оэна об оттенке его волос. Оэн утверждал, что рыжие волосы достались ему от отца. Мой собственный отец тоже был огненно-рыж, а вот деда я рыжим не знала. В моей памяти он всегда имел белоснежную шевелюру. Зато насчет глаз я не сомневалась. Они были синие, живые, быстрые, как ртуть, – и у этого мальчугана, и у старика, что месяц назад умер у меня на руках.

Отложив изображение Оэна, я взяла другую фотокарточку, с доктором Томасом Смитом и моей прабабкой. Явно фото было сделано не в тот же день, когда Деклан и Энн Галлахер снялись в компании друга семьи: Энн в другом платье и причесана иначе, а на докторе более темный сюртук. Да еще на фото с одной Энн, без Деклана, доктор кажется старше; это самое странное, ведь ничто не намекает на минувшие годы. Даже стрижку доктор не изменил. Возможно, причина в его осанке: на плечах будто бремя, да и в целом поза напряженная. И явно этот снимок в растворе чуть передержали – слишком уж отчетливы детали одежды Энн, и лица моделей отличает этакая жемчужность, свойственная очень старым фотографиям.

Оказалось, в ту страшную ночь, когда умирал Оэн, я просмотрела не все снимки – отвлеклась, помчалась за обезболивающим. Теперь я нашла фото особняка среди вековых дубов и с полоской озера на заднем плане. Уж не Лох-Гилл ли это виднеется? Кольнуло сожаление: нет бы изучить фотографии раньше, прихватить их к Мэйв – Мэйв наверняка в курсе.

На очередном – групповом – снимке Томас и Энн стояли в нарядной зале, причем Деклан там не присутствовал. Центральной фигурой композиции был рослый темноволосый мужчина: облапив Энн Галлахер и Томаса Смита, он ухмылялся, явно очень довольный собой. Фотоаппарат выхватил изумление, даже замешательство моей прабабки.

Поразительно! Это замешательство, эта неловкость полностью копировали мои эмоции на книжных презентациях, при подписывании книг для фанатов. Вглядываясь после в собственное лицо, я досадовала: опять меня подловили на мысли, что мое изображение тут вторично. Разумеется, со временем я научилась размазывать по лицу официальную улыбку, но принципиально не смотрела ни на одно такое фото, даром что издатели и слали мне их с упорством, достойным лучшего применения. Чего глаз не видит, о том сердце не тревожится, верно?

Групповой снимок в нарядной зале буквально приковал мое внимание.

– Да нет же! Этого просто не может быть! – шептала я.

Однако это было. В обнимку с Энн Галлахер стоял не кто иной, как Майкл Коллинз, лидер движения, деятельность которого привела к заключению Договора с Англией. А ведь до 1922 года его изображений просто не было. Все знали, что Майкл Коллинз ведет партизанскую войну с британцами, а вот каков он с виду, представляли себе только его ближайшие соратники. Конспирация действовала. Это уже потом, когда Договор подписали, когда Майкл принялся внедрять в сознание ирландцев мысль о необходимости этой меры (разумеется, временной), его вовсю фотографировали. Я видела эти снимки – Майкл на митинге, страстно жестикулирующий, и Майкл в военной форме в тот день, когда британцы оставили Дублинский за́мок[10] – символ их власти над Ирландией в последнее столетие.

Лишнее мгновение задержавшись на фотографии Майкла Коллинза, я взялась за дневник. От него так и веяло очарованием старины – почерк с наклоном, слитное написание, которое сейчас уже не используют, а жаль! Я не читала, а просто скользила взглядом по страницам, отмечая даты. Оказалось, с шестнадцатого по двадцать второй год автор вел записи неаккуратно – подчас месяцами не брался за перо. Также я убедилась, что третьи лица к дневнику не прикасались, что автор не сажал клякс, не выдирал страниц и не вымарывал фраз, а каждую запись снабжал лишь своими инициалами – *Т. С.*

Укладывалось в эти инициалы только одно имя – Томас Смит. Разумеется, ничего необычного тут не было. Но вот вопрос: как дневник попал к Оэну? Я стала читать – с начала, с записи, датированной вторым мая 1916 года. Ужас объял меня: я визуализировала смерть Деклана Галлахера. Пролистнув несколько страниц, я напоролась на попытки Томаса Смита отыскать Энн Галлахер, затем вместе с автором скорбела по утраченным друзьям и старалась смириться с потерей. О дне, когда был казнен Шон МакДиармада, Томас Смит повествовал фразами лаконичными, однако исполненными горечи:

Сегодня не стало Шона. Когда казни в Килменхэме на несколько дней приостановили, я, дурак, понадеялся, что Шон будет помилован.

Теперь утешаюсь одним: Шон приветствовал свою смерть. Считал, что умирает за свободу Ирландии. Да, так ему всё это представлялось. Я лишен и романтизма, и идеализма. Я воспринимаю казнь Шона как величайший позор. Таких людей больше нет и не будет.

Далее Томас Смит писал о возвращении в Дромахэр после работы в больнице при Дублинском медицинском университете, о попытках начать медицинскую практику в графствах Слайго и Литрим.

Люди здесь чудовищно бедны; нечего и думать, будто практика меня прокормит. Но сам-то я имею более чем достаточно для осуществления своего давнего намерения – помогать слабым и страждущим. Наматывая мили по обоим графствам, заглядывая в город Слайго и спеша оттуда на запад, я порой чувствую себя коробейником: в точности как коробейник, я предлагаю свои услуги людям, которым не хватает денег даже на хлеб. К примеру, вчера я помчался в Баллинамор – так плату за визит составила песня, которую спела для меня старшая дочь семейства. В хибарке, разделенной перегородкой на две комнатушки, ютятся семь человек. Меня позвали к младшей дочери, девочке лет шести; она уже несколько дней не

[10] Основной правительственный комплекс зданий в Дублине, до 1922 г. – форпост Британии в Ирландии. После подписания Англо-ирландского договора в торжественной обстановке был передан первому Ирландскому правительству во главе с М. Коллинзом.

вставала с лежанки. И что я обнаружил? Девочка не больна – она ослабела от хронического недоедания. Остальные члены семьи выглядят немногим лучше, чем скелеты. Я вспомнил про тридцать акров непаханой земли у себя в имении, о доме для управляющего, который уже давно пустует. Под влиянием импульса я сказал главе семейства (их фамилия О'Тул), что как раз нуждаюсь в толковом управляющем и, если работа ему по плечу, она его ждет. Сам-то я фермерством заниматься не собираюсь. Бедняк расплакался и спросил, можно ли приступить с завтрашнего утра. Я дал ему аванс – двадцать фунтов; мы скрепили договор найма рукопожатием. К счастью, в то утро Бриджид собрала мне в дорогу изрядный ланч – я бы всё равно столько не употребил. Словом, я отдал узелок О'Тулам, и под моим наблюдением ослабевшая девочка съела кусок хлеба с маслом. Хлеб и масло! Для того я столько лет изучал медицину, чтобы пользовать больных элементарными продуктами питания! Теперь в докторском чемоданчике буду носить яйца и муку. Похоже, в этих краях еда нужнее пилюль да порошков – нужнее даже, чем знающий врач. Не представляю, как выкручусь, если случится угодить в другое изголодавшееся семейство.

Сглотнув ком в горле, я торопливо перевернула страницу – лишь для того, чтобы наткнуться вот на какую запись:

Одна дромахэрская мамаша, кажется, больше заинтересована в том, чтобы я женился на ее дочке, нежели в том, чтобы я ее вылечил. На все лады нахваливала девицу: и черты-де у нее тонкие – ну чисто барышня, и щечки-то будто вишни, и глазки-то блестят. Увы, это всё признаки запущенной чахотки. Девушка обречена. Разумеется, я снова ее навещу, привезу пилюль, чтобы облегчить кашель. Услыхав насчет моего скорого визита, мамаша пришла в восторг. Похоже, решила, что я и впрямь намерен свататься.

Еще Томас Смит писал о негодовании Бриджид Галлахер на Ирландское республиканское братство, членом которого являлся и он сам. Бриджид винила Братство в гибели Деклана, а также в том, что черно-пегие[11] совсем озверели.

Я не стал с нею спорить. Ее упрямство и глубина горя равны моим, а я не отказался бы от своих убеждений ни при каком раскладе. Я по-прежнему жажду независимости для Ирландии, даром что не представляю, как ее добиться. Моя вина почти столь же велика, сколь и мое упование на грядущую ирландскую самостоятельность – ведь слишком многие участники Пасхального восстания отправлены во Фронгох[12]

[11] Название (англ. black-and-tans) происходит от цвета униформы, которую носили члены военизированной организации, отправленные подавлять восстание в Ирландии. Официально не подчиняясь Британской армии, они скорее были вспомогательными полицейскими частями. Британия намеренно не отправила в Ирландию свою армию – в таком случае события выглядели бы как полноценная война за независимость, привлечение же полиции низводило восстание до внутренних беспорядков, не более. Поскольку военизированные части формировались в спешке, «черно-пегие» носили разом элементы униформы обычной, вспомогательной и военной полиции. «Черно-пегие» были плохо дисциплинированы, пьянствовали, зачастую мародерствовали, участвовали в грабежах, расстреливали мирных жителей.

[12] Фронгох – лагерь для интернированных в Уэльсе. В Первую мировую войну использовался для содержания немецких военнопленных, после Пасхального восстания вместил около 1800 ирландских заключенных. Расформирован в декабре 1916 г. новым британским премьер-министром Д. Ллойдом Джорджем, сменившим Г. Г. Асквита.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.